

**Lilia Melnychenko**

*Muzeum Konstantego Paustowskiego w Odessie, Ukraina*

## **ОДЕССА И ЧЕРНОЕ МОРЕ В ДНЕВНИКАХ КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО**

Что значила Одесса для Константина Паустовского? И что Паустовский значит для Одессы? Чем заслужил он такую любовь одесситов, что в городе почти двадцать лет назад открыли мемориальный музей?

На каждый из этих вопросов можно дать вполне определенные ответы, подтвержденные самим писателем. В первую очередь его художественными произведениями, благодаря которым были возвращены из небытия имена многих одесских писателей. Во-вторых: документами эпохи – письмами и дневниками, в которых, в зависимости от настроения и ситуации зафиксированы события, свидетелем которых он был. И, наконец, чисто одесский ответ – вопросом на вопрос: а интересно, каким был бы наш город без его повести «Время больших ожиданий»?

Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный советский писатель, жил и работал в Одессе в начале 1920-х годов, что впоследствии было отражено в его творчестве. Самое знаменитое произведение об Одессе – повесть «Время больших ожиданий» (1959) стало знаковым для нашего города, так как именно с него началось возрождение культурной жизни Одессы. Благодаря Константину Паустовскому весь мир узнал о литературной Одессе, об одесских писателях Исааке Бабеле, Эдуарде Багрицком, Юрии Олеше и многих других талантливых одесситах, чьи имена незаслуженно замалчивались.

С момента выхода этой книги и город, и исторические места, связанные с одесским периодом жизни Константина Паустовского, приобрели небывалую востребованность. Писателю удалось описать городские улицы и пригородные дачи, море и порт с такой любовью, что многие считали его одесситом. Живя в

сухопутном Киеве... я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь

догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его как драгоценность.<sup>1</sup>

Так описывал Паустовский свои юношеские мечты о морских путешествиях, о море, которого к тому времени не видел, в «Повести о жизни».

Первая встреча с Черным морем состоялась в 1906 году, когда он с семьей приехал в Одессу и отсюда пароходом они оправились в Крым.

Всего, документально подтвержденных, приездов Паустовского в Одессу – десять.

Второй раз он приехал сюда летом 1915 года. Шла Первая мировая война, призванный на службу в армию Паустовский – санитар санитарного поезда, сопровождал поезд для ремонта в одесские железнодорожные мастерские.

Третий приезд – в октябре 1919 года. Он, как и большая часть интеллигенции бежал от гражданской войны на юг. Это был самый длительный период пребывания Паустовского в нашем городе – до января 1922 года.

Четвертый приезд – в июле 1924 года. Как сотрудник всероссийской морской газеты «На вахте» был послан в командировку в азово-черноморские порты (Мариуполь – Керчь – Феодосия – Ялта – Севастополь – Одесса).

Пятый приезд – в августе 1925 года. Опять командировка, но уже в порты Абхазии и Аджарии (через Одессу).

Шестой – летом 1927 года (июль-август). Приехал в Одессу на отдых.

Седьмой приезд – с июля по август 1941 года находился на Южном фронте (Одесса, Тирасполь) в качестве военного корреспондента ТАСС.

Восьмой приезд – в сентябре 1956 года. Один из участников первого в стране круиза вокруг Европы. Теплоход «Победа» отходил из Одесского порта.

Девятый – в октябре 1957 года. Приехал для сбора материалов, который вошел в книгу «Время больших ожиданий».

Последний – десятый приезд – в июле 1960 года. Приехал с женой на отдых в село Санжейку (под Одессой).

Какими увидел Паустовский море, город с пригородами и его жителей – он описал в своих книгах. Но не менее интересно увидеть Одессу и почувствовать тогдашние его настроения, описанные не в художественном произведении, а в дневниках. И, конечно, сравнить.

Исследователям творчества Константина Паустовского хорошо известны так называемые «одесские дневники» писателя. К ним относят дневниковые записи 1920–1922 годов, которые он вел во время

---

<sup>1</sup> К. Паустовский, *«Гардемарин»*, [в:] «Повесть о жизни». Т. 1, Москва 1993, с. 47.

пребывания в Одессе. «Одесские дневники» неоднократно публиковались в журналах, книжных сборниках и в интернет-изданиях. Иногда публикации сопровождалась комментариями, а отдельные фрагменты использовались как иллюстративный материал в научных статьях. Основной же целью настоящей работы является объединение всех опубликованных дневниковых заметок Паустовского, в которых есть упоминание и описание Одессы.

«Одесские дневники», вернее их часть – «октябрь-декабрь 1920 и март 1921 годов», были опубликованы в журнале «Мир Паустовского», 1996, №№ 7-8 под заголовком «Из одесских записей» (страницы дневников). Повторно их включили в первый том двухтомного издания – К. Паустовский «Время больших ожиданий», вышедший в Москве в 2002 году, куда также вошли страницы из путевого блокнота января 1922 года.

Фрагменты «одесских дневников» готовил к публикации сын писателя – Вадим Константинович Паустовский.<sup>2</sup> Вот как он описывает внешний вид дневников:

Необходимо отметить, что представляют собой сами «одесские» дневники. По сути, они состоят из трех дневников. Первый, «киевско-одесский» период записан в объемной, чуть ли не на 100 листов самодельной несшитой узкой тетради. Записи носят систематический и по хронологии сквозной характер. Правда, надо заметить, что некоторые листки этой тетради-блокнота утеряны (вернее, пока еще не найдены), в том числе листок с записями после приезда К. Г. Паустовского в Одессу; записи продолжаются лишь с марта 1920 года. Вторая часть «одесских» дневников представляет собой всего лишь два линованных листа бумаги, видимо, вырванных из тетради. На листках рукой Паустовского сделаны соответствующие пометки: «Одесса. 1920 г.» и «Зима. 1921 г.». Третья часть дневниковых записей периода «Времени больших ожиданий» сделана на трех листочках в довольно пухлом блокноте служебных записок Союза кооперативов Абхазии с подзаголовком: «Одесса – Сухум – Батум. 1922 г.»<sup>3</sup>

Дневники Паустовского имеют вид лаконичных заметок, скорее даже намеков на то или иное событие, которые впоследствии могли послужить рабочим материалом для произведений. Именно так и произошло. Те, кто знакомы с творчеством Паустовского, неоднократно встречают в его дневниках описание событий, нашедших развитие в том или ином произведении.

Ниже публикуются фрагменты «одесских дневников», где почти в каждой записи присутствует море. Есть описание порта, как

<sup>2</sup> В. К. Паустовский, (1925–2000) – сын Паустовского К.Г. от первого брака с Загорской Е. С.

<sup>3</sup> К. Паустовский, «Дневники и письма», [в:] «Время больших ожиданий». Повести, дневники, письма. Т. 1, Москва, 2002, с. 246.

нераздельного составляющего города и небольшие фрагменты описания исторических мест Одессы.

Необходимо отметить, что в дневниках упомянуто много имен старых и новых знакомых Паустовского, которые следовало бы расшифровать. Но, к сожалению, формат настоящего издания не позволяет это сделать. По этой же причине текст дневников публикуется с незначительными сокращениями. Замечу только, что в дневниках под именем Крол фигурирует жена Паустовского – Екатерина Загорская, которая не отображена в повести.

### *Из одесских записей, с марта 1920 года.*<sup>4</sup>

«Приехал Гюль. Его мытарства. У нас. Вечеринка у Любовича. Хейфец и Соломон. У Робина. Ланжерон. Прозрачное море. Камни обросли льдами. Тишина. Черноморская улица. Порт. «Слеопатра». Итальянцы. Английский крейсер «Concord» и контр-миноносец «Табасо». No, hip! Чистота и уют в теплых стальных каютах. Английские матросы в широких брюках, с трубками. Мильруд. С Катей и Гюлем – на Ланжерон. Крол нездоров. Радуетя как маленький. Камешек. Порт. «Dumont Durville» после взрыва. На шлюпке. Старый миноносец «Беспокойный». Пищат и дерутся чайки. Гирлянды снега.

Вечером – в городской театр. Красивый, итальянский. Гражданская жена Любовича. Хейфец – шалый. Смех. Убогие кооператоры. Юбилей «Рочдэльских» пионеров. Домой. Кекс Кролу. Уже выздоровела.

Написал об Оберучеве.

Приехал Лифшиц с женой. Обрадовались. К себе. Кофе. Обедать – в «Отдых». «Южное слово». Клеопатовский. Хорошая редакция, но редактор – мальчишка. Дурацкий телефон. К Поляковскому – Гюль и каштаны. Стрельба. Бреши, хромая, по темным улицам. Спальня. «Шляпа». Лифшиц. Сонечка. Плач. Пришли. Уютная квартирка у Федора Давидовича. Тепло. Уснул. Утром – бежали. Солнце и влага. На следующий вечер – ночевать к Полю. Тьма, окраины, весенне и свежо пахнет морем. Белая, чистая, одинокая комната. Холодно. «На северной форелевой реке». Шумит море. «Вилла ветров». Тоска о Москве. Английский кофе. Дикая ночь, не раздеваясь. Гюль сердится. Утро – море дымно-розовое у берегов, дальше синеватый свинец. Ветер. Крол на «Commandant Barry».

---

<sup>4</sup> Там же, с. 249.

*Из записей на отдельных листках, октябрь – ноябрь 1920 года.<sup>5</sup>*

**21 [X].** Серый день сквозь ржавчину листьев. Сизый туман холодного моря и алые просветы над его северным берегом. Василий Иванович у нас. Художник. Иконописец. «Последние новости» в Париже. Ярцев в Константинополе. Он снимает перед морем шляпу. Северянин в Ревеле.

**22 [X].** На службе гнусно. Едва досиживаю до трех часов. Мясо. Тоскливо. Батарейный переулочек – словно в Севастополе. Читаю «Боги и люди» Поля Сен-Виктора. Декаданс, рассыпанный массой ценных и точно-вычеканенных вещей. Бессилье мысли. Хорошо о Марке Аврелии. Бензиновая свеча

**24 [X].** Музей Толстого. Анфилады комнат в золотистом осеннем солнечном свете. Штофные стены. Дворец. Итальянский рояль. Empire и барокко. Чудесные японские вазы. Хороши миниатюрные портреты. «Ветер. Версаль» Бенуа. В окнах версальского дворца отсвечивает дождливый, тускло-желтый закат. Ветер рвет плащи. Красота ровных газонов, статуй, стен из зелени. Людовик XIV... Рассказы Крола о версальских фонтанах.

В университете. Белый восьмигранный зал. Годовщина литературного кружка. Шенгели – истомленный. Набриев. Читал «Поэтам». «Друзья, мы римляне». «Золоторжавая, холодная заря» над форумом. Приход нового Ронсара. Кованные стихи. Тоска. Я создан для этого. Андрей Соболев читал «Тихо было». Вспомнил «Цыганского барона». Вера Инбер -маленькая одесситка в красной вязанной кофточке. Шамкал Де-Рибас. Красивый вечер. Фосфористая луна. Думы.

**25 [X].** Холодно. Я в летнем пальто. Раздевают страну. Вечером – полный месяц над зимним морем в сизом, углубленном небе. Серебряный диск сквозь ржавую листву.

У нас больной Антонин с Фонтанов. Был на принудительных работах – нажил флегмону. Прожорлив. Старая казенная крыса. Она. Дикая пара. Наше время доводит до идиотизма. Холода. В комнате ниже нуля. Именины у Головчинеров. Опухли руки. Тоска. Статья Рысса в «Общем деле».

У Василия Ивановича. Немочка жена. Столовая. Поэтесса Данилова. О Шенгели. Серо-желтый парк.

Читаю Розанова. Чудесный русский язык. Рим, жить в нем. Вторая родина. Смерть Гартенштейна – от тоски. Несколько дней ничего не ел. Похороны. Полянский и Лоран. Ковальский. Обмывание на кладбище. Драка канторов. Торг как на базаре. Омерзительно. Ой, Лейбе-Ицко. Встретили арестованных – около двух тысяч. Врангель разбит. Радиостанция приняла радио с «Адмирала Корнилова» об оставлении

<sup>5</sup> Там же, с. 249.

Феодосии и Севастополя. Удерживаются в Ялте. Последний акт трагедии. «Громадный народ умирает в тоске, как больной заброшенный зверь». Сергей Петрович у нас. Сидел в тюрьме. Крики женщин, которых ведут на «размен». По вечерам – тьма, холод. Уходит жизнь. Ждут «Волю», которая якобы пришла сдаваться. Таскаю обед. Серые сумерки.

**20 [XI].** На море сильный шторм. Заходил на бульвар. Волна перекачивает через молы. Зеленое море. Ветер. Брусилов... говорил о Петрограде – за 6 дней он не слышал смеха, не видел ни одной улыбки. Говорят шепотом. Импотенция мужчин. Прекратилось деторождение.

**22/XI.** Мутные, свинцовые дни. Был Сергей Петрович. Спал несколько дней в бараках – обовшивел. Около 6 часов вечера неожиданный и сильный орудийный огонь. Никто не знает – что это. Тяжелый гром в [нрзб.], опавленный в яркую ржавчину парк.

У батюшки умер ребенок.

Именины Крола. Хризантемы. В холодных комнатах. У Ковальских. Восточная музыка. Черные ночи. Медведев. Его рассказы. Много читаю об искусстве. Хейфец. Замерзло море – особый запах снега. Рождество. В монастырь. Красавица-послушница. Лицо Нестерова. Диякон. Великая ектения. Сочельник. Елочка. Лифшицы. 1-ый день у моря. Молочный туман. Бледно-зеленое, едва шумит у дамбы. Ледяные торосы. Плач чаек.

Свежесть. Отдых – покой. У Ивановых. Свины в гостиной. «Моряк». Скука этой жизни. В кабинете изящных искусств университета с Ковальским – Серов, Борисов-Мусатов. Изможденный хранитель – Василенко.

**29/XII.** 14° тепла. Совсем весна – все в синем отблеске. Тихое море. А в Москве – костры в морозном тумане. Готовимся к Новому году. Новый год – у нас. Ковальские. Коньяк. Тепло. Танбура. «Просим младшего корнета выпить рюмочку вина». Утром к морю. Я в летнем пальто.

«Моряк». Купчиха Благова. Темно. Ермил Иванович».

### *Зима, 1921 год.<sup>6</sup>*

«Мальвина с помятым лицом. «Южный транспорт». В типографию. Дикая ночь. Снег. Иван Гаврилыч – боцман с «Гангута» с вырванной ноздрей. «София». Болгарский капитан. «Астракан». «Варна» бьется сквозь лед. Уткин. Зарисовки. Первый № «Моряка». В типографии. Чай. Благоев – приказы. Канышевич уехала в Болгарию. Любович негодует. Эйбер – горлан и скандалист... Боцман Яков и его ужасная жена. 9-го января на Б. Фонтан. В домике тишина, собака, трещит печь, шуршат листья, с моря тянет теплом.

<sup>6</sup> Там же, с. 251.

Масляная. У Ивановых, Бона, дети. У нас. Гюль. Еще холодно. На живую газету. Кронштадтское восстание. Растерянность среди коммунистов. Папаша Кривоходкин. «Не так ревно, як его жинка». Бершадт. В редакции весело. Капитан дальнего плавания. Аншелес-Терский. Книги о Кавказе. Острослов. Сценки с Ивановым. Фицев. «Решид Паша» с врангелевцами. На «Дмитрии» с Евгением Николаевичем. Март, тепло, влажные доски пристаней. Близится Пасха. Лукагер. Его жена-парижанка. В типографии – кепстэн. Подорольский. Пасха. Даша печет куличи. Миндаль. Красиво в комнатах. Стурдзовская церковь. Монастырь. Разговенье. Цакни. Гюль и поэтесса Данилова. У Иванова – банкет. Вино. У Головчинеров на Базарной. Ганфман отяжелел. Мобилизация журналистов. Проводы. Старый Лифшиц, его шапка. Тепло, цветет акация. История с речью Ленина. На заводе Черномортранса. Подводная лодка «Лебедь». Ковальский в Крыму. Носил куличи ей на квартиру. Приехал. Почернел, длинные волосы. Скрывался у нас. Сел в бает. Лукагер с дочкой у нас. Я у них. Лимон. Рыжий. Фешенебельно. С Ковальским в Аркадию. Жара, солнце. На 9-ую станцию. Дядя Коля. Снова к морю. Парк Ралли – развалины, [нрзб.] вода, [нрзб.], проводы. Виды Крыма».

*Из путевого блокнота: Одесса – Севастополь – Сухум, январь 1922 года.*<sup>7</sup>

«19/1. Одесса. Туман. Белый вышитый шатер. Абергуз. Левшин на «Батуме». Ночь на рейде. По брегватеру гуляет прибор. Город во влажных огнях. Тоска. Утром снялись. Упруго заходили палубы, желтые берега. Фонтаны... Санджейка. Гудок лоцмана. И открытое море. Мелодично позванивает лаг. Качка. Пассажиры травят якоря. Одиночество». [...]

В пояснениях Вадима Паустовского, приведенных выше, есть такое замечание: «Правда, надо заметить, что некоторые листки этой тетради-блокнота утеряны (вернее, пока еще не найдены), в том числе листок с записями после приезда К. Г. Паустовского в Одессу». Со временем, слова Вадима Паустовского подтвердились и в 2005, в № 23, журнал «Мир Паустовского» опубликовал, правда, с некоторыми сокращениями 27 «одесских» листков 1920 года, считавшихся ранее утерянными. Внимательный читатель сразу заметит стилистическую разницу между первой частью «одесских дневников» и вновь обретенной. Во-первых, отсутствует так называемый «телеграфный» стиль фиксации событий, который мы наблюдаем в первой части. Во-вторых, прослеживается определенный повтор информации, но в более расширенном виде. И, наконец, здесь почти нет имен, но много замечаний и размышлений о

<sup>7</sup> Там же, с. 251.

политической стороне жизни. Как указали публикаторы новых «одесских» листков: «О причинах обережения этих страниц на протяжении многих десятилетий исследователям остается делать свои предположения и догадки».<sup>8</sup>

### *1920 год. Из дневника.*<sup>9</sup>

«Такого глухого, чугунного времени еще не знала Россия. Словно земля почернела от корки запекшейся крови. Ухмыляющийся зев великого хама. В Петербурге – городе мертвых – прекращается деторождение. Мужчины импотентны. За шесть дней он не видал ни одной улыбки, не слышал смеха или окрика извозчика. Любви нет. Разница между полами стерта голодом, грязью, невыносимой тяготой жизни.

Нет того, что раньше называлось флиртом. Резиновая скука. Жизнь – в этой скуке, серой, пахнувшей аммиаком из отхожих мест – тянется, как высохшая резина, пока не разорвется. Нет пола. Есть голодное существо, одетое в рваную шубу, с потухшими глазами. Почти все не моются по два месяца – в квартирах замерзает вода – разве здесь можно говорить о любви? Женственность – признак жизни живой, свободной и богатой, усохла, как усыхает река. Женщины внушают только отвращение грязью, затасканными подолами, слезящимися глазами, точно так же, как и обросшие, несвежие мужчины.

Боже, до чего ты довел Россию. Хочется молиться в теплых блестящих матовым золотом полутемных соборах. Молиться и знать, что за папертью идут в голубых огнях и снегу тихие площади Кремля, живет быт, пушистые снежинки падают на бархатную девичью шубку. Молиться. В последних истоках мутного света сослепу тычется, ища черствую корку, громадный умирающий народ. Чувство головокружения и тошноты стало всенародным. И больше умирают от этой душевной тошноты, тоски и одиночества, чем от голода и сыпняка.

Сегодня утром за маленьким окном едва светало. Вспомнил стихи, Москву, детство. Лежа на рассвете в теплой постели, в рождественские синие рассветы, так похожие на сумерки, хорошо было слушать треск дров в печи, звон чашек в столовой, смотреть на запущенные деревья в уютном саду, на красные блики огня на натертом паркете, вдыхать запах елки и ни о чем не думать.

Каждый день учеты, регистрации, допросы, реорганизации, сокращения штатов, слияния, аресты, боевые приказы, картавые мальчишки с револьверами на заду, дурацкая суета и оупелое

<sup>8</sup> К. Паустовский, «1920 год. Из дневника», [в:] журнал «Мир Паустовского», Москва 2005, № 23, с. 7.

<sup>9</sup> Там же.



ничегонеделанье – так живут советские учреждения. Крепостные. Хуже крепостных – „сволочь”, скоты, которых дерут плетью ежечасно. Больно дерут по лицу. И за дрожью от холода, от обиды, от смутной боли – жалкое сознание, что там где-то „хвост” – очередь, и в этой очереди дают раз в три дня кислый ячменный хлеб, от которого пучит живот. Во имя этого терпят. А среди них есть интеллигентные люди.

Я совершенно не создан для службы, для канцелярщины, для сиденья за столом. Я болен. Тоска стала непрерывной, замкнутым в себе кругом (я не могу теперь, не сдерживая слез, слышать плач детей), она наполнила все мои дни до краев, и я не знаю ни сил, ни возможности разорвать ее, засмеяться, почувствовать, что ведь я еще молод, что мне всего только 28 лет, что я хотел жить иначе.

Книги лежат начатые, но писать дальше не могу. Отморожены, должно быть, мозги, и отморожены руки. Пальцы опухли, в язвах, и умыванье вызывает слезы.

У батюшки умер сын. Ребенок был слаб. Дети рождаются хилые, с дурными соками, у матерей нет молока. Вечером он служил панихиду у гробика в цветах. Цветы (астры) принес Крол. Горела коптилка. За окнами дул сырой норд-ост и стояла черная злая ночь... „В месте светле, в месте покойне, иде же несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная”. Великая жажда у всех к этим местам, где нет воздыхания. У меня, у немногих есть свои „дети”, – то, что мы отдаем будущему, свою душу в этих разорванных листках и книгах, то, что мы расплещем из себя, как пену из стакана с вином. У многих этого нет, нет своей доли в бесконечности жизни, кроме детей.

В нашем положении – выгоднее всего – это ждать смерти.

Вспомнил похороны Гартенштейна. Он был еврей. Что-то бормотал над ним рыжий синагогальный служка в пыльном цилиндре. На кладбище около гроба подрались канторы. Один из них взял верх и надрывно, отчаянно запел отходную. „Ой, лейбе, ицко, лейбе!” Было невыносимо тяжело. Весь обряд погребения, от обмывания и выдавливания экскрементов, до савана, из которого торчат мертвые ноги в носках, и носилок для тела со следами каких-то высохших соков – безобразен. Я нес эти носилки. Старик умер от тоски – пять дней ничего не ел.

Мы дожили до самого страшного времени, когда правы все идиоты. Третья революция, которая близка, будет самой кровавой. Будут убивать на улицах, как зверей. Ибо давление ненависти и тяжесть терпения перейдут предел и разразятся внезапным и ошеломляющим взрывом.

Жалость... будет достаточным поводом для смерти. Жизнь народа не терпит пустоты, а теперь эта бесплодная пустота (скопческая в отношении духа, творчества) наступила. Нет никаких надежд. У безнадежного один исход – расплата с теми, кто загнал его издыхать во вшивую нору. Издыхать одного, ибо давно уже умерли маленькие дети и слабая жена, и

чувство человеческого, и любовь, и вера в какой-то смысл своего земного существования.

На угрозу „поставить к стенке” он ответил: „Я 24 часа в сутки стою у стенки, – стою у стенки за фунтом хлеба, у стенки за советским пойлом, у стенки за восьмушкой сахара и за поленом, стою у стенки голодной смерти и, если вы поставите меня к последней стенке, – я буду только благодарен”.

Расстрел, „размен”, „ставка Духонина” совершается над каждым из нас 24 часа в сутки, непрерывно. А смерть – это только „последняя” стенка, цементная стена гаража и грохот автомобильного мотора (их заводят, чтобы не было слышно выстрелов), после которого останутся только клочья воспаленных мозгов и лужица крови. Товарищи операторы (раньше „палачи”) разденут труп, и родные увидят на улице на одном из них знакомые вещи и только по этому узнают о смерти близкого. Узнают еще и по тому, что после смерти приходят к родным и забирают вещи убитого. Так было с братом Ириши.

**2 декабря.** Первый снег. Пушистый. Какой красивое слово „снег”, „снежный”. Если бы был художником, написал бы картину „Снега”. Снега на закате, розовеющие, как в полях... „Страна, которая молчит, вся в белом, белом...”. От вечернего снега в тихие залы деревенских домов ложатся бледные отсветы. А в Москве – балы. Вспомнил Зайцева. Море – в снежном тумане. (Мост на Греческой).

Рисую план Парижа. Меня волнуют даже названия улиц. Есть три важных города, где я хотел бы жить, Москва, Париж и Рим. В Москве – потому что там есть Гранатный переулок и „в ноябре на Тверской лежит снег”, потому что там прекрасные русские девушки, милый ласковый быт и белые соборы в Кремле. „Дальний край” Бориса Зайцева. Париж – за блестящее очарование его бульваров, как запах меха, только что сброшенной женщиной, за *cafe* и газовые рожки и Верлена, за *Notre Dame* и Гюго, и сады Версаля в дождях, с желтыми отблесками ноябрьского заката в окнах дворца. Рим – за кислотоватое вино и остерии, за то, что Рим – город печальных любовников и художников в потертых пиджаках, за мрамор, увитый плющом Муратова, и солнце в узеньких улочках.

**3/ХП.** Утром рыжий парк весь в солнце, белым пятном сверкает маяк, заголубело море. К вечеру закат ослепительно горел в окнах обсерватории жидким золотом, и над бухтой нависла розовая морская мгла. Болит голова и трудно о чем-нибудь думать. Устал от тасканья по базару, где все продают и никто не покупает. На возах сидят, расставив ноги, толстые бабы с лицами чудовищ. Около каждой – десятки женщин с измученными глазами, мужчин в пенсне, студентов... и все, как нищие, протягивают руки с бельем, ботинками, мехами. Какая-то всероссийская распродажа интеллигенции. Но на все – один ухмыляющийся самодовольный ответ:

„не треба”. И острая, злая радость в глазах, что можно унижить „панов”. А „пань”, может быть, уже двое суток ничего не ели.

Острое, почти болезненное желанье сладкого чаю и легких, красивых журналов. Весь день бы просидел за номерами „Столицы и усадьбы”, „Искры”, „Солнца России”, вглядываясь в рисунки, радуясь каждой букве, как запойный пьяница.

**4/XII.** На рассвете Крол рассказывал мне о своем детстве. Какой это был милый и цветистый быт. Красное платье. Все зимние дни – на деревенской улице с Лелей на салазках и ледянках. Далекое поездка на лошадях по родственникам в престольные праздники. Колокольные звоны.

Снега, солнце и пыльное лето во ржах. Введенье – преддверье Рождества. Домовитость, уют, мамины заботы, теплые лежанки. Гаврила Петрович – псаломщик – венчал ее кукол. Ей надо, хотя бы раз в год, побывать около рязанских березок, около Оки в лапотной, родной и древней (седенькой) России. А я завез ее сюда, на юг, в бездушный и тяжелый город, где даже раз в год нельзя услышать чистый, русский, поющий язык, ее рязанский говор.

„Я пришла к тебе от быта”.

Быт и Кустодиев. На полотнах его много пряников (красных и зеленых лошадок), игрушек, базарной пестроты, овчин и мохнатых лошадемок. Там на Успенье уже краснеется калина, вода в речушках студеная и чистая, играют пескари, и золотые листья, как уборы с икон, опадают с березовых лесов на увалах, и такая нерушимая, церковная, золотая тишина над землей. Это родное. А здешнее, „украинское”, все эти „перукарни”, „харчкомы”, атаманы, Черные Ангелы и Тютюнники, размокшие степи и наглые мужики – лукавое, тяжкое, недоброе, замкнутое – так органически, до отвращения чуждо, хотя мой отец малоросс. Я родился в Москве, крестили меня в Георгиевской церкви (что на Всполье), и Москва преобразила мою хохлацкую кровь, дала ей древность и крепкую свежесть русской земли.

Бог прислал меня на землю с даром красок. Поэтому – я художник. Я остро чувствую краски и настроения дней, хотя близорук. И в людях я чувствую краски их души. Пишу, и слова ложатся мазками, как краска на холст, и вся моя мысль – в этих тонах, то блеклых, то густо-алых, но больше всего золотых, золотеющих, насыщенных внутренней теплотой. Мысль, философствование, как игра идей, как шахматы, как комбинации вдумываний, из которых рождаются гениальные прозрения, – мне чужды. Я мыслю сердцем. Может быть, потому так быстро сгорает жизнь. Хорошо погрузиться в воспоминания, думы, образы, как в теплый сон, безвольно, без притягивания своей мысли веревкой (дисциплиной дня) все на ту же дорогу. Поэтому я вряд ли создам что-нибудь дельное. Но я могу написать несколько прекрасных строк о свете лампадок и вечернем чае в теплой, уютной столовой, о морском утре, словно закутанном в голубой

шелк, переливающий солнцем, и о покрытых жемчужной пылью кулис картинах Дегаза.

Я вдруг почувствовал, что впереди меня ждет небывалое еще счастье. Был сырой день, я шел парком, с зеленого взволнованного моря дул сырой ветер. Такое чувство бывает у меня редко и никогда не обманывает. Первый раз было в Ревнах, в лесу, в июльский день, когда наливались ржи. 14 год. И действительно пришло счастье бродяжничества, великой любви и моря. Второй раз – вот теперь.

Кролу к именинам подарили белые хризантемы. Зимние, с хлопьями усталых лепестков. Они особенно красивы в холодных комнатах, когда на стеклах узоры от мороза. Горький запах очень печален. Почему-то вспоминаются снежные глубокие дни в Москве и голос Бумы.

Когда кончилась гражданская война и началось „мирное строительство” („фронт труда”) – все сразу увидели, что „король голый” и вся сила его только в войне, в разрушительной энергии злобы, в ужасе, в махновцах, одетых в колпаки из старых красных и зеленых портьер. Чтобы создавать – нужна свободная душа и детские пальцы, а не прокисший ум, изъеденный, как молью, партийной программой и трехлетним озлоблением. Они искалеченные, но не огнем, а тлением, распадом, неудачливостью. Вся страна превращена в аракчеевские поселения.

Началась новая эпоха – прикармливание интеллигенции, профессоров, художников, литераторов. На горьком хлебе, напитанном кровью, должно быть, они создадут какой-то нудный лепет – „великое искусство пролетариата, классово-ненависти”. Должны создать. Положение к тому обязывает. Чека им крикнуло „пилль”, и они покорно пошли, поджав облезлый от голода хвост. Голгофа. Предсмертная пена на губах такого тонкого, сверкавшего, заморожившего все души искусства. Кто из них потом повесится, как Иуда на высохшей осине? Кто однажды продал душу? Господи, да минет меня чаша сия.

Не может быть, чтобы они не знали, что в Чека перед расстрелом смертникам, раздетым донага, пускают в спину струю ледяной воды из шланга и потом стреляют, – чтобы меньше было крови. Все же жизнь прогрессирует. Из недр Чека исходит этот прогресс, ибо техника убийства там разработана в недостижимом совершенстве. Никто не проклянет тех, кто пошел „чесать пятки Луначарскому”. Тех, кто мог бы проклясть <нрзб> и завистливо смотрят, как „те” тащат два фунта ячной крупы с мышиным пометом – академический паек.

Самое ненормальное и чудовищное явление в жизни – физический труд. Он мельчит душу и родит тусклое, непрерывное озлобление. „Кто не трудится – тот не ест” – детская галиматья, недомыслие. Словно для того человек пришел в жизнь с изощренным богатством своего ума и чувств,

чтобы всю жизнь кряхтеть и сверлить сталь на заводе, потом напиться и спать, как животные.

Почти никто не знает, что человек (не изломанный) призван к тому, чтобы „ничего не делать”, но создавать. Из великой лени созданы узоры уальдовского письма, „Евгений Онегин” и стихи пьяницы Верлена. И весь производственный труд всех социалистических, советских, федеративных и красных республик не стоит одной его строчки „Les sanglots longs des violons de l'automne”. Наши деды умели только лежать на диванах в зимние оранжевые дни и слушать треск дров в старинных (синих) голландских печах – и они создали дворянские гнезда и домовые церкви, залитые блеском свечей, и покрытые снегами набережные Невы в фонарях, и балы, и Пушкина, и Грибоедова, и Бунина, создали Толстого (не религиозно-философствующего, а Толстого „Войны и мира”) и, наконец, печальника русской осени, русского флорентийца Бориса Зайцева. Они создали редкий фарфор и гобелены, и клавесины красного дерева. И прабабушки прозрачными пальцами играли на них Моцарта, композитора старой изысканной Вены. А тот, кто „трудится и ест”, создали Чека, советское пойло, советских скотов (всю Россию), тоску, грязь, плакаты и сотни жеваных „правд” и „известий”.

Какая тонкость вкуса. Китайцы стараются окрашивать фарфоровые чашки в такие краски, которые гармонировали бы с цветом чая. Голубой цвет. Он создаст с коричнево-золотым чаем зеленоватые, теплые отсветы. В этом – прелесть быта, ежедневного уклада. На красивые вещи нельзя смотреть в музеях, как на редкость, открыв от изумления рот. С ними надо жить, каждый день едва скользить по ним взглядом, но потом это уж не вытравишь из души. Незаметно душа нарастает. Я замечаю это по той серебряно-зеленой парче – бывшему антимиусу, что висит над диваном.

Коммунизм, интернационал рождены еврейством, это – органическое, как у нас, русских, – дряблость и неуклюжесть. По существу, еврей, ненавидящий большевиков, более большевичен, чем русский красноармеец.

Медведев долго рассказывал о том, как выкладывали мозаикой его панно для дворца одного из петроградских князей. Медленная и красивая работа. Какое богатство ума было вложено в технику этих вещей. Говорили о реставрации старых картин, о подмосковной усадьбе кн. Щербатова с трельяжами, елисаветинскими залами и отблесками снега на стенах, куда он ездил в „теплом” автомобиле. Мы слушали как сказку. В грязной комнате было ниже нуля. Замерзло чернило. У него – черные, изъеденные язвами руки – от копоты и оттого, что чистит картошку. Сквозь дыру в ботинке выглядывал белый носок.

Первый и безошибочный признак пошлости – холеные усы. Слегка подвинченные. Приказчицы. Как у Головчинера. [...]

**16/XII.** На днях был странный сон. Снова я в старом помещицком доме с низкими потолками, теплом и уютном. Из светлых сеней, где стояли еще с зимы в зимних кадках рододендроны и пальмы, я вышел на крыльцо. Был март. Вокруг дома стоял сосновый лес, снег лежал весь в синих лужах. Чудесный талый воздух. Около крыльца пилили сосну, и ее смолистый запах, снега, теплые предвечерние отсветы в окнах дома – все это было до того родное, русское, далекое от „интернационализма“, что я заплакал во сне от детской, беспомощной тоски. Проснулся в слезах.

Замерзло море и стали холода. Тянет над садами ледяным и соленым воздухом. Над белым платом льда – сизое северное небо. Рано зажигают огни. Перелом зимы.

Часто приходит ко мне желание писать – писать дни и ночи напролет, лишь изредка отрываясь и глядя в туманный зимний сад или спускаясь к черно-зеленому, покрытому льдами у берега морю. И думать о тех, кто прочтет эти строки, написанные мной. О далеких друзьях в Москве, в России. Но это желание вянет, комкается в жизни от ежедневного хождения в какой-то дурацкой Окружкомгуб, от усталости, холода, таскания обедов и тысячи мелочей. А жизнь уходит. Ленивый раб, зарывший талант свой в землю.

Святки, Рождество и Пасха – самые душистые праздники в жизни.

Утром выпал легкий, едва тронувший бурю землю снег. Парк, словно старинный зал в серых, но светящихся серебряных отсветах. Глубокая, поразившая меня тишина стояла над садами и морем. Только по усадьбам глухо кричали петухи. Цвет неба – словно цвет крыльев синевато-серебряной моли. И такая тишина стояла кругом, что, кажется, можно было зажечь под этим низким небом, в ясности этого святочного утра маленькую елку, и ее золотые огни не погасли бы и горели недвижно и ярко, как на алтаре. Молитвенная, церковная красота, не создавшая еще своих художников, своих поэтов.

Теперь впервые я все чаще и чаще встречаю на улицах умирающих людей. Выпитые глаза, трупный цвет рук и лица, трясущаяся голова, забитая, неизлечимая тоска в глазах. Тоска неизбежного смрадного и потому бесконечно горького конца. И за этой тоской – какие-то серенькие огоньки – память о прошлом, о милых святках и светлых, теплых комнатах, о друзьях и родных, которые теперь досадливо отмахиваются».

Обе части «одесских дневников» в полном объеме были опубликованы в 2012 году в одесском издании – Константин Паустовский «Время больших ожиданий». Однако, в книгу не вошли фрагменты

дневников, которые не относятся к одесскому периоду жизни Паустовского. Это дневники 1924, 1927 и 1956 годов, в которых отражено кратковременное пребывание писателя в нашем городе. Причины приезда Паустовского в Одессу в это время были указаны выше. Здесь же я приведу фрагменты записей, вошедших во второй том книги «Время больших ожиданий», изданной в Москве в 2002 году.

***Из записей 1924 года, начиная с командировки в азово-черноморские порты.***<sup>10</sup>

[...]«Берега Одессы. Мгла, вежи – прекрасный город. Огни. К Аренбергу. В кафе на Гаванной. «Моряк». Коберман. Очерки. Боровой. Муров, Багрицкий. В кафе у Фалькони. Мельница в степи. Сушь, виноград. Коля. В Аркадии – читали Гумилева. Эллада. Французский бульвар. Даша в супрематическом платье. Черноморская... Виноград на Старом базаре. На молу у маяка. Вокзал. Аренберг...».[...]

***Из дневника 1927 года.***<sup>11</sup>

[...]«Одесса. Синева, жара и солнце. Коля на вокзале. У него... Люстдорф. Польнь. Куры в трамвае... Купался. «Бублики». Проводы. Нежная розоватость. Ночь у Коли. Гехт и Бондарин. Смех. У Аренберга. Зинаида с нервным ребенком. У него на даче – журналисты. Бухта на М[алом] Фонтане. Старуха с удочками. Гехт. Мороженщик Ваня. Вечер ухода «Трансбалта». Аркадия, ловили креветок. Домино. Крути. В покалеченном трамвае, смех. Столовая на Дерибасовской... Австрийский пляж. Вода. Песенки. Квас. Малярия. На массиве с Бондариним. Болезнь Коли... Продавцы. Мальвина – ночь на Греческом мосту. Лузановка. Катер. Качка и утки. Человек с автомобильной шиной. Блондинка. Зной, Аравия, колючие травы. «Не бейте по сознанию». Обрато – сидел на борту, сумерки, нагретый медный воздух, шорох волн...

Поезд. Скучно, пыль».[...]

В 1982 году в июньском номере журнала «Смена» впервые был опубликован «Европейский дневник» Константина Паустовского. Дневник он вел находясь на борту теплохода «Победа», на котором осенью 1956 года совершил путешествие вокруг Европы. Это была его первая поездка на Запад и начиналась она в одесском порту.

<sup>10</sup> К. Паустовский, «Дневники и письма», [в:] «Время больших ожиданий». Повести, дневники, письма. Т. 2, Москва 2002, с. 191.

<sup>11</sup> Там же, с. 196.

**Европейский дневник. 1956 год.**<sup>12</sup>

«Отъезд в Одессу. Провожала Танюша. Галка. Дим.

**4 сентября.** В дороге. Синезерки. Детство. Сияющие, все в росе Брянские леса. Рыжие папоротники. Первые приметы осени. Киев.

Одесса. Канны, солнце, порт. Океанская белая «Победа», порт завален товарами. Сорная вода, иностранные флаги.

В город на такси. Аркадия, Дюк. Снова в порт. Долго не пускали старые сторожа. Бестолочь, заграничные паспорта.

Одиночество. Уже скучаю.

Каюта II класса. Теснота. Койка, как шкаф.

Отвал в полночь. Шум волн, уходящие огни Одессы. Красный огонь Воронцовского маяка. Город, – «казалось, он в дали шумящей утопал».

**5 сентября.** Утро. В море. Хмурый цвет. Днем открылись берега Болгарии – из охры и красной слоистой глины. Обрывы, леса, пустынность». [...]

В этой поездке принимала участие группа писателей, в том числе Даниил Гранин. И Паустовский, находясь в Одессе, решил показать Гранину город. Может быть мы никогда не узнали подробности этого путешествия, если бы Гранин не прочитал тот номер «Смены», в котором был опубликован «Европейский дневник», где среди прочего Паустовский писал и о нем. Реакцией Гранина на эту публикацию стал очерк «Чужой дневник», в котором он «расшифровал» и дневниковую запись Паустовского, сделанную в Одессе. Ниже приводится фрагмент «Чужого дневника» Даниила Гранина об Одессе.

**Даниил Гранин. «Чужой дневник».**<sup>13</sup>

[...] «Собственные воспоминания о той поездке задвигались, ожили. Они обретали новое измерение. Через Паустовского я узнавал себя, он записывал меня, что я делал, что я говорил. Я сравнивал его записи и свои воспоминания, разницу нашего видения, вкусов и влечений. [...]

Рейс начинался с Одессы. Мы приехали в Одессу. Паустовский показал мне свою Одессу. Корабль стоял в порту, теплоход «Победа», огромный океанский лайнер, – он загружался, догружался, оформлялся, а мы бродили по городу. Дворы, завешанные бельем, лавочки, подъезды, где сидели старики и старухи и торговали длинными самодельными конфетами, пирогами, тапочками, яблоками. Дом, где когда-то

<sup>12</sup> К. Паустовский, «Европейский дневник», [в:] журнал «Мир Паустовского», Москва 2005, № 22, с. 10.

<sup>13</sup> Гранин Д., «Чужой дневник», [в:] журнал «Мир Паустовского», Москва 2005, № 22, с. 44-45.



помешалась газета «Моряк». Там Паустовский работал. Он изображал, как мальчишки-газетчики кричали: «Мрак»! Газета «Мрак»!

Крикливый Привоз, неслыханной красоты и мощи базары, одесский говор, одесский юмор, кому это, как говорится, мешало? В то лето 1956 года Паустовский еще мог показать свою Одессу, еще на рынке тощий инвалид в тельняшке мог заставить купить велосипедный звонок, на который все будут заглядываться! Через двадцать лет, когда я захотел показать эту Одессу своим друзьям, я ее не нашел. Ее уже не было. С непонятной старательностью ее выскоблили, всю одесскость, одессизм, ее говор, ее шутки, ее обычаи... Ревнителю однообразия, они терпеть не могли одесскую литературу, давшую Ильфа, Петрова, Багрицкого, Бабеля, Катаева. Причислили к ним и Паустовского. Южнорусская школа в устах этих критиков стала чем-то подозрительным, чужеземным. Паустовский любил Одессу и никогда не скрывал этого, не отрекался от нее, хотя и не был одесситом. За это ему доставалось, и немало.

Итак, летом 1976 года, вспоминая покойного Паустовского, я бродил по Одессе, и это была другая Одесса. Было жарко. Я спустился к причалу, где когда-то стояла «Победа». Набережная и лестница смотрелись отсюда так же красиво, все стало чище, портовые краны выглядели внушительнее, цветов стало больше. Дома были свежоокрашены, играли фонтаны, в киосках открыто продавали жевательную резинку. Но прежней Одессы не стало. Имелся красивый морской город, областной центр, почему-то знаменитый, а почему – неизвестно. Люди говорили с чуть заметным южным акцентом, но примерно так же, как в Николаеве и Херсоне, и надписи всюду были правильные, никаких вольностей, и шутили так же, как всюду. Наконец-то добились, чтобы этот город стал как все другие города. Мальчишки-газетчики Паустовского превратились в пожилых стариков, они сидели в застекленных киосках, продавали «Огонек», «Польшу» и зубную пасту».

Незадолго до выхода повести «Время больших ожиданий» Константин Паустовский читал ее главы в ялтинском Доме творчества. Среди слушателей была и одесская поэтесса Вера Инбер, жившая в Одессе в те же годы, что и он. По словам очевидцев Инбер воскликнула: «Это не та Одесса!». На что Паустовский ей ответил: «Верочка, я пишу о своей Одессе. А ты можешь рассказать о своей»<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> И. *Комментарии к страницам дневников К. Паустовского «Из одесских записей»*, [в:] Журнал «Мир Паустовского», Москва 1996, №№ 7-8, с. 8.

**Бібліографія**

- Бутыльская И. *Комментарии к страницам дневников К. Паустовского «Из одесских записей»*, [в:] Журнал «Мир Паустовского», Москва 1996, №№ 7-8, с.8.
- Гранин Д., «*Чужой дневник*», [в:] Журнал «Мир Паустовского», Москва 2005, № 21, с. 44-45.
- Паустовский К., «*Гардемарин*» [в:] «Повесть о жизни». Т. 1, Москва 1993, с. 47. Паустовский К., «*Дневники и письма*» [в:] «Время больших ожиданий». Повести, дневники, письма. Т. 1, Москва 2002, с. 246-251.
- Паустовский К., «*1920 год. Из дневника*», [в:] Журнал «Мир Паустовского», Москва 2005, № 23, с. 7-11.
- Паустовский К., «*Дневники и письма*», [в:] «Время больших ожиданий». Повести, дневники, письма. Т. 2, Москва 2002, с. 191-196.
- Паустовский К., «*Европейский дневник*», [в:] Журнал «Мир Паустовского», Москва 2005, № 22, с. 10.

**Lilia Melnychenko**

*Odessa State Literature Museum*

**ODESSA AND THE BLACK SEA IN THE DIARIES  
OF KONSTANTIN PAUSTOVSKY**

**Summary**

Konstantin Georgiyevich Paustovsky (1892–1968) – is a famous soviet writer, he was living and working in Odessa at the beginning 1920-th, what was later depicted in his works. His the most famous work about Odessa is the story “A Time of Great expectations” (1959) became very important for our city, because it started the renaissance of Odessa cultural life. Thanks to Konstantin Paustovsky all the world knew about literary Odessa, about Odessa writers Isaak Babel, Yury Olesha, Eduard Bagritsky and other talented writers, whose names were suppressed unfairly.

By the time the book was published the city and all historical places that were connected with Odessa period of Paustovsky, became very well known. He managed to describe Odessa streets, dachas in Odessa outskirts, the sea and the port with great love, and many people supposed him to be from Odessa.

He saw the Black Sea at first in 1906 when he came to Odessa with his family and from here they moved to Crimea by the ship.

In general there are ten his arrivals to Odessa that are certified in papers.

The longest period of staying in our city is from October 1919 to January 1922. Like many intellectuals he escaped from Civil War to the South. It was his third coming to Odessa. Just this period was depicted in his story “A Time of Great Expectations” and other works. Being in Odessa Paustovsky kept the diary that was later named “Odessa Diaries”.

What did he see the sea, the city and his residences like – he described in his books. But it is interesting not less to see Odessa and to feel it atmosphere, depicted in his diaries and of course to compare the diaries with the stories.

**Key words:** K. Paustovsky, diaries, Odessa, sea.

**Ключевые слова:** К. Паустовский, дневники, Одесса, море.

**ЛИЛИЯ МЕЛЬНИЧЕНКО** – заведующая Мемориальным музеем К.Г. Паустовского (филиал Одесского литературного музея). До 2015 г. – ведущий научный сотрудник ОЛМ. В музее с 1984 г.

**Основное направление научной деятельности:** исследование тем: «Одесская писательская организация», «Одесса в годы Второй мировой войны», «Одесская киностудия художественных фильмов», «Репрессированные писатели Одессы», «Владимир Высоцкий в Одессе», «Леонид Утесов и Одесса», «Творчество Михаила Жванецкого», «Константин Паустовский и Одесса».

**Научные работы:** Автор более 40 научных и научно-популярных статей. Среди них: «Зеленый фургон В. Высоцкого», «История невостребованного сценария» (Б. Ожуджава. «Частная жизнь Александра Сергеевича Пушкина»), «Личные архивы одесских еврейских писателей Ирмы Друкера и Нотэ Лурье», «Дневник Адриана Оржеховского (Записки 1941 – 1944 гг.)», «Нотэ Лурье. Биография на фоне анкеты».

Один из авторов отдельных изданий: «Мигдаль-Times. Дайджест» (Одесса, 2005), «История Холокоста в Одесском регионе» (Одесса, 2006), «Владимир Высоцкий. Имена Одесской киностудии» (Одесса, 2006), «Владимиру Высоцкому – 72» (Николаев, 2010), «Реабілітовані історією. Одеська область» (Одесса, 2010), «Одесса в славянских литературах. Студии» (Польша, Белосток, 2016).

Один из авторов учебного пособия для школьников «Уроки Одессаведения» и двух энциклопедий – «Они прославили Одессу» и «Одесская морская энциклопедия».

Автор предисловия к книге: А. Горбатюк «1941. Хроники блокадной Одессы» (Одесса, 2014).

Один из составителей изданий: «История Черномортехфлота» (Одесса, 2003), сборников «Одесский юмор» (Москва, 2004) и «Южная столица» (Одесса-Москва, 2009).

Автор и создатель более 50 выставок в залах музея, а также 10 выставок вне музея.

Автор и создатель новой экспозиции музея Степана Олейника в селе Левадовка и один из создателей музея гостиницы Лондонская.

Председатель Научной секции книги Одесского Дома ученых. Член жюри ежегодной книжной выставки-ярмарки «Зеленая волна».